

ЯКОВ УХСАЙ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КОНСТАНТИН ИВАНОВ¹

Совершенно немислимо строить строго-научную историю чувашской литературы вне связи ее с русской литературой также, как и историю чувашского народа, без связи с историей великого русского народа. Когда литература находится еще только в зачаточном состоянии, ее представители опору для движения вперед обыкновенно ищут в другой литературе и родном фольклоре, таким образом, создается период необходимого подражания, образуется мост к переходу на почву оригинальной литературы.

Первый чувашский поэт Михаил Федоров, имея намерение написать большое эпическое произведение, прежде всего исходил из фольклора и поэзии Пушкина. К нашему сожалению, Федоров при своей жизни не мог напечатать ни одной строки поэмы, до нас дошел только пролог под названием „Арсюри“ („Леший“), где мы ясно чувствуем влияние Пушкина, в особенности его стихотворения „Бесы“.

В творчестве поэтов, которые в 1906—1907 годах печатались в газете „Хыпар“, чувствуется весьма сильное подражание русской революционно-демократической поэзии. По-моему, стихотворение Шелеби „Змей“ написано по мотивам „Песни о соколе“ Максима Горького, местами даже звучит как сокращенный перевод. Все это были первые попытки создать чувашскую литературу на волнах первой русской революции, когда первый раз в истории своего существования чувашский народ получил некоторое право выражать свои мысли печатно. Скоро была разгромлена редакция газеты „Хыпар“, ее наборщик молодой певец чувашской бедноты Тайр Тимкки был сослан царским правительством в Иркутскую губернию. Но жажда создания чувашской литературы не потухла, голос поэтов первой революции был услышан в стенах Симбирской чувашской школы молодым Константином Ивановым.

В конце 1908 года в городе Симбирске вышла книга „Сказки и предания чуваш“. В ней были напечатаны поэма „Нарспи“ и три сказки Константина Иванова в стихах. Эти произведе-

¹ Доклад на юбилейной конференции Союза советских писателей Чувашии 20 октября 1940 г.

дения быстро разошлись по чувашским селениям, некоторые стихи поэмы „Нарспи“ стали народными песнями.

Чувашский народ вплоть до Октябрьской революции не знал доподлинно, что автором этих произведений был Константин Иванов, так как в первом издании было указано, что он уроженец села Слакбаш, Белебеевского уезда, Уфимской губернии, является только собирателем народного творчества. Этот факт не случаен, и он имел вполне вежливую форму—ускользнуть от копыт бумагоядных животных, называемых цензорами святейшего синода. Это племя имело весьма большой аппетит к блюдам, составленным преимущественно из языков мелких национальностей, которых называли тогда „инородцами“. Недаром чувашская пословица гласила, что „чувашскую книгу корова съела“.

Мы сейчас отмечаем 50-летие со дня рождения Константина Иванова. Эта дата юбилея у нас невольно вызывает сожаление и скорбь, и перед нами встает великий художник, как таинственный луч в страшной темноте царской России. Наша скорбь тем более возрастает, когда мы и сейчас могли бы видеть в своих рядах 50-летнего поэта, и этот возраст для могучего таланта не есть старость, а, наоборот, является вполне зрелой молодостью, периодом крепко установленной гармоничности творческой работы. Мы не можем детально говорить о путях развития его творчества, комментировать этапы его жизни, так как Иванов в истории развития чувашской литературы пролетел как метеор, и 25 лет тому назад без брони и гранита выросла бедная могила на его родине. Трудность исследовательской работы осложняется еще одним коренным обстоятельством: до нас совершенно не дошли подлинники рукописей ни одного из его бессмертных творений, и потому мы не уверены в том, что рогатки царской цензуры не задели целостности его поэзии. В поэме „Нарспи“ немало встречаются нерифмованные строки, — едва ли строгий мастер, высший судья своих творений, каким несомненно был Иванов, мог допустить те шероховатости, которые дисгармонируют стройное звучание семисложного силлабического стиха, — здесь чувствуются следы чужой руки. Наши догадки подтверждаются скудными воспоминаниями современников поэта о том, как Иванов настаивал на существовании в чувашской поэзии усеченных форм глаголов. В первом издании 1908 года эти глагольные формы исправлены редакторами помимо воли Иванова, и они разрушают метрику стиха.

Мы не в силах восстановить подлинные тексты ивановских произведений. Еще до революции чувашские миссионеры растеряли литературное и эпистолярное наследство Иванова, а случайно уцелевшие черновые тетради и ценнейшие рисунки и живописные эскизы до сих пор находятся в частных руках. Мы в течение нескольких лет продолжаем говорить о литературном музее. Вся необходимость доказывает, и он должен быть создан.

Судьба многих дореволюционных национальных писателей трагична. Эта судьба нависла над Ивановым слишком рано, и он не мог рассеять ее до конца своей жизни. Он в начале 1907 года был исключен из первого курса Симбирской чувашской учительской школы за участие в студенческой забастовке, но за короткое время пребывания в школе, благодаря своим замечательным способностям, сумел быстро в совершенстве овладеть таким ключом знания, каким был и есть русский язык. Иванов, будучи 12—13 лет, начал писать свои оригинальные стихи, переводил стихотворения Генриха Гейне и посылал к родным длинные стихотворные письма, слагая их на манер грустных народных песен, а позднее были у него опыты писать на русском языке. Однажды на уроке русского языка было задано ученикам написать сочинение о весне. Иванов и это сочинение написал в стихотворном виде. Как вспоминают однокурсники Иванова, оно было прочитано преподавателем в классе; замечательные строки его позднее целиком вошли в первую песню поэмы „Нарспи“.

Город Симбирск в русской литературе занимает солидное место, он дал таких писателей, как Карамзин, Дмитриев, Григорович, Гончаров, Языков, Анненков, братья Минаевы и другие. Преподаватели русского языка и литературы на занятиях воодушевленно говорили о своем литературном городе, а ученики, охваченные духом гордости за свой город, считали почти своей обязанностью сочинять вирши и имели тайные альбомы юношеских переживаний. Такой альбом был и у Иванова.

Иванов после исключения из школы жил в своей родной деревне, изучал и собирал народные песни и сказки. Инспектор Симбирской чувашской школы Яковлев хорошо знал исключительно яркий талант Иванова, хотел его использовать в работе комиссии по переводу религиозных книг на чувашский язык. Иванов, имея намерение продолжать свое образование, поехал в Симбирск, но Яковлев его на учебу принять не мог, дал задание перевести некоторые главы из Библии. Иванов за неимением квартиры жил в комнате школьной библиотеки и он, любитель книг, не хотел другого счастья. Мир его поистине был изумительный, дни и ночи проходили в душевной беседе с книгами великих писателей. Иванов выполнил задание Яковлева, перевел одну главу Библии — песни Соломона, которая, кстати, представляет из себя ше евр древне-еврейской поэзии, воспевает красоту и величие женщины и лишена всякого религиозного аскетизма. Неправы были те критики, которые, отбрасывая время и пространство, в котором жил поэт, брали факт перевода религиозных книг отправным пунктом доказательства религиозности Иванова и причисляли его к стану воинствующей поповщины. Если бы Иванов не дал этих переводов, то Яковлев не мог бы держать Иванова в Симбирской школе, позднее не издал бы его произведения. Яковлев, защищая опального в политическом отношении Иванова и издавая его произведения, сделал для чувашского народа дело громад-

ной значимости, и мы обязаны это отметить. Его издания религиозных книг забыты, но им изданная поэма „Нарспи“ живет и будет жить. В этом часть неоспоримой прогрессивной роли Яковлева и его школы. Перевод одной главы библии Ивановым был маневром усыпления бдительности царских чиновников, требующих закрытия чувашской школы, обвиняя ее в распространении сепаратизма.

Стоит быть знакомым с мотивами мировой поэзии, и несправедливость огульного обвинения Иванова в религиозности теряет всякую основу. Некоторые библейские темы традиционно служили образами вдохновения величайших поэтов—атеистов, какими были Байрон, Пушкин, Лермонтов и многие другие. Даже пламенный певец освобожденного Чувашского народа, поэт-коммунист Сеспель Мишши использовывал библейские образы в тех случаях, когда показывал прошлую трагедию нашей нищей и голодной страны, шагающей, оставляя кровавые следы на камнях гор нужды и голода.

В 1907 году 17-летний Константин Иванов неожиданно-негаданно, вместо перевода других глав библии прочитал Яковлеву перевод поэмы Лермонтова „Песня про купца Калашникова“. Яковлев был прекрасным знатоком чувашского языка, в молодости сам писал известную сказку о Сармандее, но, будучи приверженцем системы Ильминского, словом и делом стоял за скорейшее насильственное обрусение чуваш „в духе святого писания“. Он сомневался в возможности существования чувашской литературы. „Язык и саблю режет“—так гласит пословица. Таким языком владел внешне застенчивый Иванов. Его чтение лермонтовской поэмы в Симбирской школе мы считаем тем счастливым днем, когда в лихое время родилась наша литература, и она под заботливыми руками юного Иванова встала во весь рост. На самом деле, сомнения Яковлева и многих других о способности чувашского языка было раздроблены языком Иванова. Седой Яковлев, стоя перед колыбелью чувашской литературы, был удивлен мастерством ивановского перевода, не уступающего лермонтовскому подлиннику. Было сохранено содержание и передана стремительная сила и выразительность лермонтовского железного стиха. Иванов окрыленный первым успехом, перевел еще семь стихотворений Лермонтова: „Парус“, „Узник“, „Волны и люди“, „Утес“, „Горные вершины“, „Ангел“ и „Чаша жизни“. Все эти переводы вышли отдельным изданием, и они до сих пор являются золотым фондом чувашской литературы и служат образцами для наших поэтов в их переводческой работе.

До Иванова техника переводческой работы не была разработана. Из русской художественной литературы имелись переводы нескольких басен Крылова, одного рассказа Короленко, напечатанные в газете „Хыпар“. Иванов был почти одинок в своих творческих исканиях, перед ним был только богатый народный язык, до него почти не тронутый руками поэтов и писателей. Необходимо было ему из этого дремучего языко-

вого леса выбирать крепкие и гибкие материалы для строительства литературы, учитывая все особенности многих диалектов и наречий: создать литературный язык, доступный всему чувашскому народу. Иванов для перевода выбрал Лермонтова и вдобавок трудную для перевода поэму „Песня про купца Калашникова“. Этот выбор не случайный, имеет причины глубокого характера. Лермонтов был самым любимым и душевно близким поэтом Константина Иванова, эта близость двух гениальных юношей обусловлена параллелизмом трагедий двух времен. Лермонтов совершенно молодым стал мастером поэзии, выражал мысли и с рептением декабристов, горько чувствовал разгром их и разгул свирепой аракчеевщины, отрицая неразумность мрачной действительности, по выражению Белинского, „рвался на нож“, и на 26 год жизни в окрестностях Пятигорска его сразила мартыновская пуля, подосланная самим царем. Константин Иванов жил почти на целый век позже, но трагедия его времени звучит в унисон Лермонтовскому времени. Иванов 17 лет стал мастером, его поэзия протеста и свободы выросла на волнах революции 1905—1917 годов, тогда же он почувствовал окрыленным надеждой на лучшее будущее, имел веру на возрождение своего народа. Революция была подавлена, и Иванов, как духовный сын ее, замученный черной реакцией, 25 лет сошел в могилу. Эти два периода, хотя они стояли между собой на расстоянии целого века, были друзьями по судьбам, явились жертвами двух кровавых Николаев Романовых. Эпиграфом к жизненной книге их могут служить строки Лермонтова.

Я рано начал, кончу ране.
Мой ум немного совершит.
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

Лермонтов в себе таил злобу и ненависть на то великосветское общество, которое убило его учителя Пушкина, этот гнев годами увеличивался, усиливая его одиночество:

И скучно и грустно! и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды.
Желанья... Что пользы напрасно и вечно жать?
А годы проходят, все лучшие годы.

Иванов короткую свою жизнь прожил в родной деревне и городе Симбирске, не имел возможности побывать даже в больших городах. Он доходил до отчаяния от гнетущей мрачной действительности. Он сравнивал себя со старым лесом, потерявшим приятный шелест своих листьев и лишенным соловьиных трелей. Лес одрях без воды. Иванов, жалуясь на свое духовное одиночество, переключался с Лермонтовым:

Когда один и без отрады,
Я болен, мне покоя нет.

Куда вы, молодые годы,
Промчались мимо? Где ваш след?
Как сон исчезли вы в просторе,
Вы, годы грезы золотой.
Страданье, и тоска, и горе
Висят, как тучи, надо мной. *(Мой перевод)*

Иванов в начале своего литературного творчества не только переводил Лермонтова и отдавал должную дань его могучей демонической натуре, но и находился под его влиянием. Мы это ясно чувствуем в мотивах его незаконченной драматической поэмы „Раб дьявола“. Если в лермонтовской поэме действующим лицом является крылатый „изгнанник рая“, то в ивановской трагедии действуют хотя и обыкновенные люди в домашних рубашках, но романтический дух временами звучит довольно сильно. Два брата в погоне за деньгами отправляются на поле войны, становятся мародерами, грабят убитых и раненых, накапливают мешками „презренный металл“ — золото. Старший брат продает душу дьяволу, убивает своего родного брата, отнимает деньги и в экстазе бешеного веселья пляшет под музыку чертей, и раздаётся гомерический смех ликующего дьявола. Ангел просит человека отказаться от порочной власти дьявола и искупить свой тяжелый грех. Человек, овладевший богатством и увлеченный безумным грабежом, живых и мертвых, не останавливается в своей страсти, за деньги готов отдать все, даже продать самого всевышнего господя бога. Жадный человек возвращается на родину, чувствует себя властелином жизни, думает свой слух звоном золота, но, ожидая дьявола, лишается сна. В финале поэмы появляется страшный рогатый дьявол, убивает всю семью богача и уносит их души. Эта поэма написана Ивановым по мотивам чувашских сказок, впитавших в себя влияние религии, но отправным пунктом все же служила лермонтовская поэма „Демон“, а фольклор был только подсобным материалом. Поэма была набросана осенью 1907 года и осталась незаконченной. Иванов очень быстро отошел от книжного влияния романтизма, и через несколько месяцев уже была написана гениальная поэма „Нарспи“, где мысль первой поэмы о деньгах получает реальную силу, когда Михедэр не душу, а единственную дочь, гордость деревни Сильби, продает дряхлому старику Тохтаману.

В поэме „Нарспи“ Иванов выступает уже как вполне зрелый мастер, чувствуется в его строках пушкинский спокойный простор описания природы и красавицы Нарспи и лермонтовский размах в показах горячих и сильных натур, ищущих волю или гибель. Сетнэр в бурную ночь идет по дремучему лесу и повторяет свой монолог о мщении дряхлому Тохтаману:

— Скоро вечер. Ночь настанет.
Я врага застану ночью.
И еще до света сердце
У него не будет биться.
Встанет солнце. Вспыхнет утро,

Сбросят сон и встанут люди, —
Тохтаман лишь не проснется,
Тохтаман один не встанет!
Встанет солнце, заснет,
И опять в лесу я буду.

Тохтаман собакой мертвой
На полу валяться будет.
Встанет солнце, день займется,

И опять в лесу я буду.
И спасенная от мужа
Уж Нарспи со мною будет.

(Перевод А. Петоки)

Когда мы говорим о влиянии одного великого мастера или многих на другого, все это подтвердить выписыванием одних цитат нет возможности. В данном случае мы имеем в виду присутствие могучего протестующего духа Лермонтова в поэзии Иванова. Известно, что этот дух Иванов воспринял в условиях первой русской революции 1905—1907 годов. Всякий большой оригинальный мастер учится у других систематизировать строй своих образов, под влиянием их поднимает свои внутренние силы, а потом отталкиваясь от них, становится самостоятельным. Только посредственные поэты, не имеющие своей орбиты, выбирают пристанище около больших и малых мастеров, питаются их образами и перпевают их. Иванов в творчестве Лермонтова нашел родственные мотивы: они оба были сынами социальных взрывов: Лермонтов — восстания декабристов, а Иванов — революции 1905—07 годов. Иванов перевел поэму Лермонтова „Песня про купца Калашникова“ потому, что сам в своем творчестве прежде всего исходил из народного творчества, а поэма Лермонтова, по выражению Белинского, „создание мужественное, зрелое и столько же художественное, сколько и народное“. Именно эта народность привлекала Иванова. Лермонтов из русских классических поэтов самый трудный для перевода, предельная сжатость и густота образов Лермонтова требуют исключительно тонкого понимания их для передачи особенностей поэзии Лермонтова средствами другого языка.

Белинский, разбирая эту поэму, о Лермонтове писал: „Он является здесь опытным, гениальным архитектором, который умеет так согласить между собою части здания, что ни одна подробность в украшениях не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною с самыми существенными частями здания, хотя вы и понимаете, что архитектор мог бы легко вместо нее сделать и другую. Как ни пристально будете вы вглядываться в поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишнего или недостающего слова, черты, стиха, образа; ни одного слабого места: все в ней необходимо, полно, сильно!“

Перевод такого произведения на чувашский язык требовал от Иванова знания русского фольклора, знания тайны сил лермонтовского стиха, чтобы ломать его и снова построить на чувашской почве, сохраняя дивную красу. Кирпичами же должны быть те жемчужины чувашского языка, о котором среди либеральной чувашской интеллигенции думали, что он рожден только для рассуждения о лаптях и пользе мочалы. Иванов знал красоту своего родного языка, способного вмещать в себе образы титанической силы. Иванов для перевода поэмы выбрал не размер подлинника, а размер формы чувашских свадебных песен и сказаний, наиболее восприимчивой и гибкой передавать героический размах богатырской силы народа. Этот раз-

мер, взятый Ивановым, оказался близким лермонтовскому. Поэма „песня про купца Калашникова“ в переводе стала истинно народным произведением. Недаром зимою 1937 года неграмотный 60-летний Захар Иванов, колхозник деревни Юманай, Шумерлинского района, Чувашской республики, читал ее вслух по радио. Этот успех дался Иванову не только тем законным обстоятельством, что он был слишком талантливым, но и любовным и творческим трудом, вложенным в перевод. Иванов прекрасно изучил русский язык, знал силу и тайну каждого слова. К нашему сожалению, некоторые национальные писатели имеют только поверхностное знакомство с русским языком, переводческое дело считают простым механическим подбором слов, поэтому их переводы весьма часто остаются фактами хвастливой газетной хроники.

Весьма интересны в переводе лермонтовской поэмы места, когда Иванов совершенно переделывает отдельные обороты, эпитеты и слова. Они не случайны, а имеют свои причины серьезного характера.

И разделят по себе злы татаровья
Кояя доброго, саблю острую
И седельцо браное черкасское.

Иванов выражение „злы татаровья“ заменяет выражением „ненавидящие враги“. Хотя в лермонтовском тексте это выражение имело исторический характер, так как Иван Грозный вел борьбу за покорение Казани, но Иванов не хотел раздражать чуваш оскорблением по адресу татар, с которыми чувашаи вместе разделяли судьбу рабского существования на полях российской империи. Кстати, надо заметить, когда один грузинский классический поэт перевел „Демон“, то в строках „бежали робкие грузины“—обидный и неверный эпитет—„робкие“ выбросил. Иванов во всей поэме эпитеты „христианский“, „православный“, „божий“ отчистил, видя в них, что они могут быть поняты малограмотными читателями как восхваление поповщины и религиозного мракобесия. Дело в том, что хотя большинство чуваш считалось формально православного вероисповедания, но пережитки язычества были весьма сильны; в чувашских селениях систематически бывали массовые стычки с чинами духовства. Попытки попов проводить насильственное обрусение и изгнание чувашского языка из школы встречали народную неприязнь. Иванов от души уважал народную правду и вдобавок у него были свои обиды и ненависть к попам, которые сложились еще с детства, когда он слушал исторические предания о своих предках. Предки Иванова во времена царствования Елизаветы Петровны были одними из основателей города Белебея в Башкирии. Попы и миссионеры принимали весьма активное участие в колонизации Башкирии и на равных правах купцами и помещиками делили мечом и огнем ограбленное богатство „инородцев“. Попы в Белебее построили деревянную церковь и на чувашей-язычников наложили непосильнотяжелые налоги, разоряли их догола. Чувашаи восстали и сожгли цер-

зовь. Попы построили каменный собор, но основатели города, разломав дверь, выбросили иконы в овраг. Непокорные бунтовщики-чуваши по специальному царскому указу были выселены из города. Иванов, слушая множество легенд и преданий о своих героических предках и об участии белебеевских чувашей в пугачевском восстании, с детства вынес стихийную ненависть к попам, а позднее в дружеских беседах даже гордился тем, что его предки были сподвижниками Емельяна Пугачева. Знание о своих предках, надо полагать, у Иванова было обстоятельное и интересное, так как он составил черновой план и имел намерение написать историческую семейную хронику наподобие пушкинского „Арапа Петра Великого“.

О переводах Иванова семи стихотворений Лермонтова подробно останавливаться нет особой необходимости. Они исполнены чувством глубочайшей любви к поэзии. Особенно выделяется перевод стихотворения „Парус“, где Иванов, не зная еще о будущности тонической метрики чувашского стихосложения, бессознательно, интуитивно до конца выдержал размер анапеста. Хотя многие наши поэты переводили лермонтовский „Парус“ размером подлинника — четырехстопным ямбом, но ивановский перевод до сих пор остается непревзойденным. Иванов в своих переводах был не рабом, а соперником изумительного мастера Лермонтова. Лермонтов из всех поэтов мира в чувашской поэзии оказался счастливее: он передан чувашскому народу без потерь во всей красоте звонкого железного стиха.

Константин Иванов не перевел ни одного произведения Пушкина, но влияние Пушкина в его поэзии огромное. Пушкин направил его на путь спокойного обозрения жизни, создания большого эпического полотна. Если пристально следить за описанием весны в прологе поэмы, то пушкинская радость, жажда жизни бьет через край. В пушкинском описании зимы мы любовно смотрим на веселого шалуна мальчишка, заморозившего пальцы. Такие беззаботные шалуны, свободные еще от участия в горестных трагедиях жизни, в ивановской поэме „Нарспи“ появляются в прологе, дразнят старого рыбака. Иванов особенно близок к Пушкину в обрисовке характера и портрета Нарспи в стиле народных песен и сказок; при чтении второй главы поэмы „Нарспи“ мы невольно вспоминаем чудные пушкинские строки о Марии из поэмы „Полтава“:

Она свежа, как вешний цвет,
Взлеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминает плавный ход,

То лани быстрые стремленья;
Как пена, грудь ее бела,
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют;
Звездой блестят ее глаза,
Ее уста, как роза, рдеют.

Ивановская Нарспи, как Татьяна Ларина, суеверна и, как Мария, горда. При ее описании Иванов, в использовании народных образов, следуя за Пушкиным, дает вполне аналогичный портрет Нарспи:

Меж зеленой травки в поле
Золотой растет цветочек.
И Нарспи цветом весенним
В славном яле расцвела.
Словно черные агаты,
У Нарспи сверкают очи.
Косы низко, мелко вьются,
Стан девичий не согнется,
Как пойдет лебяжьим шагом—
Зазвенят монисты звонко.
(Перевод А. Петоки).

Пушкин описывает необозримые луга и богатство Кочубея, радость его при виде дочери:

...Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами—
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.

Характерные черты Кочубея даны Ивановым Михедэру совершенно в противоположном виде: алчный и скупой Михедэр гордится прежде всего своими амбарами, холстинами, погребом и одеждой Нарспи и почти не замечает красоты дочери.

Наши выводы о том, что Иванов при написании своей поэмы Нарспи находился под сильным влиянием пушкинской поэмы, подтверждаются особенно финальными строками: легенды и предания о Нарспи и ее печальные песни остались в народе так же, как живая память о Марии и Мазепе в „Полтаве“:

Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.

Все это отнюдь не доказывает, что Иванов был несамостоятелен и неоригинален. Это не есть подражание, а только влияние гениального Пушкина на Иванова. Сам Пушкин под таким же влиянием Байрона находился в период создания южных поэм. Иванов несомненно учился у Пушкина и при написании цикла своих сказок.

Здесь хочется обязательно отметить ту светлую сторону гуманизма Иванова, которая чудесно и ярко пронеслась через всю жизнь поэта.

В мрачные годы черной реакции на общественно-литературную арену выдвинулись омерзительные силы, как болотные пузыри, из гниющих недр русского капитализма. Литературные

карлики арцыбашевы, приняв вид апостолов, проповедывали бесстыдный цинизм и эротику. Мережковский писал уже книгу „Грядущий хам“, не жалея грязи в обрисовке образа будущего хозяина мира—пролетариата. Символисты, продрогшие в космическом мире, опустили на землю и начали воспевать духоту ресторанов и устриц во льду. Александр Блок устал в поисках прекрасной дамы,—„Истина—в вине!“ воскликнул он.

В литературе один великий Горький смело нес знамя гуманизма с девизом: „Человек это звучит гордо!“ Удивительно, совершенно молодой Константин Иванов не поддался влиянию никаких декадентских групп. Вслед за Горьким он поднял свой голос за величие творца—человека. „Нет никого в мире сильнее человека, он стоит хозяином на земле и на морях!“—писал он в прологе поэмы „Нарспи“. Властелином жизни является человек, а не сологубовские „мелкие бесы“. Иванов шаг за шагом шел по пути овладения великими традициями русской классической литературы, все больше и больше укреплял себя демократическим мужеством гражданской музыки, приближался к исполнению завещания демократа-революционера Николая Добролюбова, который писал: „Нам нужен был бы теперь поэт, который бы красотой Пушкина и силой Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова“.

Типом поэта, которого стремился видеть Добролюбов, был до некоторой степени Некрасов, отдавший всю силу своей Поэзии народу, душою и сердцем был там, где „одни только камни не плачут“.

Некрасов самые крупные свои произведения посвятил русской женщине, которую, как скот, продавали и били. Все это привлекало сочувственное внимание гражданской музыки поэта.

Иванов, как и Некрасов, заступился за горестную судьбу женщины, все свои произведения посвятил ей, рабыне того мира, где грабеж и неправда считались честью и признаками высокого ума и нравственности. Некрасов по тематике и духу был Иванову близким поэтом, некрасовские верные яковы весьма часто встречались в чувашских селениях; способы такого возмездия, к которому прибегают Яков, имели распространенный характер. Так, например, русский писатель Н. Телешев в рассказе „Сухая беда“ изображает чувашина Максимку. Максимка для того, чтобы отомстить купцу Курганову, обвинявшему любимую Максимкой девушку Феню в краже денег, приходит к решению сделать „типшар“, что в переводе на русский язык значит „сухая беда“, т. е. непредвиденное и непредотвратимое несчастье. Желая заставить мучиться своего врага, Максимка повесился во владении купца Курганова. Вообще горе и голод русского крестьянства—темы Некрасова—в одинаковой мере были живучи и в чувашском народе. Иванов оставил только черновые переводы двух мест поэмы „Кому на Руси жить хорошо“. Первый отрывок из пролога:

Мужик, что бык: втемяшится
В башку какая блажь,
Колом ее отгудова
Не выбьешь, упирается,
Всяк на своем стоит.

Иванов сравнение „что бык“ заменяет чувашским крылатым сравнением: ёне пекех ёнерсёр (в переводе „как корова безтолковая“), где аллитерационные чередования звуков „ё“ и „н“ усиливают красоту звучания. В этом же отрывке, чтобы сильнее показать упрямство мужика, Иванов добавляет выражение: „и клином и колом не выбьешь“. Другой отрывок „Голодная песня“ из части „Пир—на весь мир“ при переводе почти весь сохранен, кроме одного сравнения:

Как идол встал
На полосу.

„Идол“ заменен словом „пень“. Во-первых, сравнение „идол“ чувашскому читателю был бы трудноватым для понимания, требовало бы лишнего объяснения; во-вторых, лаконическое сравнение „пень“ характернее, так как показывает, что пахарь Панкратушка, как пень, со всеми корнями ушел в землю-кормилицу.

Мы в стихах Иванова „Засуха“ и „Голодные“, написанных в конце 1907 года, чувствуем некрасовские мотивы, несомненно продиктованные, во-первых, стихами Некрасова о голоде и, во-вторых, положением чувашских деревень, особенно на территории Поволжья, где систематическим гостем был голод. Иванов дал яркую картину засухи:

Жарынь-жара, и мир прозрачен
и голубой до тошноты.
Жгет солнце. На земле горячей
Увяли травы и цветы.

Засохшей ржи пустейший колос
Повис, себя позолотив.
Река мертва. Приятный голос
• Веселой мельницы затих.
(Мой перевод)

В этом страшном пейзаже грядущего голода вырисовываются могилы. Некрасов в одном из стихотворений о петербургских трущобах описывает дикое избиение жалкого человека, в ярости голода стащившего у торговца кусок калача. Иванов в монологе своего героя из стихотворения „Голодные“ переключается с Некрасовым:

Давно не ел. Коварный голод
Томит меня, грызет.
Что делать мне? Совсем я голый,
Искал—работы нет.

Возьму кистень, от смерти взора
Уйду от сюда прочь.
От вас, от чести и позора
Меня укроет ночь.

Меня забудьте, что чувашин
Жил, тише был воды.
Пускай откинет память ваша
Меня, мои труды.

(Мой перевод)

Иванов не оставил нам отдельных и законченных переводов стихотворений Некрасова. То, что он для себя перевел некоторые места из самой революционной поэмы „Кому на Руси жить хорошо“, все это ясно доказывает, что Иванов высоко ставил гражданскую поэзию Некрасова. Отсутствие всякой возможности издания стихотворений Некрасова на чувашском языке приостановило начатую работу Иванова. Иванов, надо полагать, в 1907 году, когда еще имел надежду на расширение свободы печати, хотел перевести некоторые главы или целиком поэму „Кому на Руси жить хорошо“, может быть эти отрывки служили теми опытами, которые нужны были для выработки техники перевода. Наши предположения могут быть обоснованы тем, что отрывки взяты Ивановым из пролога и заключительной части поэмы.

Не лишены интереса черновые переводы Иванова двух стихотворений Кольцова, поэта, завещенного для пристального изучения Добролюбовым. Стихотворение „Молодая жница“ Иванов перевел не целиком, неожиданным изменением одной строки придал вполне законченный характер:

Высоко стоит
Солнце на небе,
Горячо печет
Землю-матушку
Душно девице,
Грустно на поле,
Нет охоты жать
Колосистой ржи.

Всю сожгло ее
Поле жаркое,
Горит—горьмя все
Лицо белое.
Голова со плеч
На грудь клонится,
Колос срезанный
Из рук валится.

Иванов предпоследнюю строку изменил, вместо „колос срезанный“ дал образ: не только колос, а серп падает из рук горестной девицы. Неожиданный конец увеличивает трагедию женщины, как будто грусть девицы превращается в такое горе, куда входят и усталось, несчастная любовь и другие невзгоды социального порядка. Таким образом, слишком длинное стихотворение получает стремительную силу и финал, требующий раздумывания читателей. При переводе кольцовской песни „Дуют ветры, ветры буйные“ Иванов последние две строфы не переводит, заканчивает строфой:

В эту пору
Непогожую
Одному жить—
Сердцу холодно.

Иванов, как Лермонтов и Блок, любил писать коротко и густо, поэтому длинноты Кольцова выброшены.

Кольцовские мотивы в творчестве Иванова имели свои отражения. Так, например, последние пять строф из первой главы поэмы „Нарспи“, когда Иванов призывает чувашей после праздничного похмелья умыться свежей водой, снарядить сохи и бо-

роны и выехать на поля, очень сильно напоминают стихотворение Кольцова „Что ты спишь, мужичек“.

Переводы Иванова стихотворений Лермонтова, Некрасова и Кольцова—все сделаны в конце 1907 года, после чего он, кроме редактирования переводов двух книг для чтения Льва Толстого, сказки „Аленький цветочек“ С. Т. Аксакова, „Диких гусей“ Андерсена и других книг, к переводу не возвращался. Иванов в творческом отношении не выдохся, он мог еще дать народу бессмертные произведения. Хотя Иванов жил до 25 лет, но он был духовно убит царизмом 18 лет. После подавления революции 1905—07 годов царизм затоптал в грязь все права существования чувашской литературы. Печатание самых безобидных оригинальных произведений на чувашском языке рассматривалось как антигосударственное дело, требующее немедленной кары; даже постановки переведенных пьес в чувашских селениях заканчивались неизбежным финалом—составлением полицейских протоколов.

Очевидцы передают страшную быль: осенью 1908 года, когда вышла в свет бессмертная поэма „Нарспи“ и уже некоторые стихи ее стали народными песнями, Константин Иванов обратился к издателю по вопросу издания будущих своих произведений. Издатель отказал и „посоветовал“ ему переводить библию. В маленькой комнате на берегу реки Свияги одинокий Иванов плакал, как ребенок. Это был плач по гибели чувашской литературы. Так мог плакать только гениальный человек, правдивый и кристально чистый.

Константин Иванов, как многие представители других национальных литератур, вырос под громадным влиянием русской классической литературы. Татарский поэт Абдулла Тукай писал: „Я взял луч“ у русских солнц—Пушкина и Лермонтова. Константин Иванов взял лучи у Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других великих русских писателей, стал для чувашского народа метеором, осветил мрачную действительность темной России. Он призывал к уничтожению торжества вечно холодной ночи, и сам в этой борьбе сгорел.

Известные нам произведения, как оригинальные, так и переводные, были созданы Ивановым почти в течение двух лет. Творчество его, выросшее за такой короткий срок, ярко отражает прошлую жизнь чувашской деревни и оно сыграло неопценимую роль в деле развития чувашской литературы. О влиянии ивановской поэзии на современную чувашскую литературу говорят неоспоримые факты. До сих пор наша драматургия не может отойти от Иванова. Даже такие пьесы, как „В деревне“ Ф. Павлова, „Айдар“ П. Осипова, „Анисса“ А. Калгана, крепко вошедшие в репертуар чувашских театров, написаны под влиянием поэмы „Нарспи“. Иванов также оказывает громадное влияние на музыку и живопись. Иванов и сейчас в наши дни живет и будет жить в дальнейшем, как живой, активный участник во всех отраслях литературы и искусства.

„Нарспи“ переведена на русский язык. На сегодняшний день

на русском языке мы имеем два перевода: А.Петтоки и А. Жарова. О достоинствах и недостатках первого перевода достаточно освещалось в центральной и республиканской печати, что следует проделать и в отношении второго перевода. Надо заметить, что в переводе А. Жарова имеются большие отступления от оригинала. Он в достаточной мере не передает самобытности поэмы Константина Иванова. Поэты-переводчики должны ликвидировать этот пробел и дать русскому народу во всей красоте не только поэму „Нарспи“, но также другие произведения великого поэта, основоположника чувашской литературы и создателя того литературного языка, на котором золотыми буквами написана Сталинская Конституция орденосной Чувашской республики.